

Григорий Бакланов

Навеки – девятнадцатилетние (Фрагмент)

*Тем, кто не вернулся с войны.
И среди них – Диме Мансурову,
Володе Худякову – девятнадцати лет.*

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Ф. Тютчев

А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных пудовых сапогах.

С. Орлов

ГЛАВА I

Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было определить, кто он был: наш солдат? Немец? А зубы все были молодые, крепкие.

Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И вынули на свет запёкшуюся в песке, зеленую от окиси пряжку со звездой. Её осторожно передавали из рук в руки, по ней определили: наш. И, должно быть, офицер.

Пошёл дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастёрки, которые до начала съёмок актёры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей ещё на свете не было, и все эти годы он вот так сидел в окопе, и вешние воды и дожди просачивались к нему в земную глубь, откуда высасывали их корни деревьев, корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли стекали из тёмных глазниц, оставляя чернозёмные следы; по обнажившимся ключицам, по мокрым рёбрам текла вода, вымывая песок и землю оттуда, где раньше дышали лёгкие, где сердце билось. И, обмытые дождём, налились живым блеском молодые зубы.

— Накройте плащ-палаткой, — сказал режиссёр. Он прибыл сюда с киноэкспедицией снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте прежних давно заплывших и заросших окопов.

Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по ней сверху, словно полил сильнее. Дождь был летний, при солнце, пар подымался от земли. После такого дождя все живое идёт в рост.

Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как тридцать с лишним лет назад, сидел он и в эту ночь в размытом окопе, и августовские звезды срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за степей, которые тогда были лесами, взошло, как всегда, согревая живущих.

ГЛАВА II

В Купянске, орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной снарядами кирпичной водокачкой светило сквозь копоть и дым. Так далеко откатился фронт от этих мест, что уже не погромыхивало. Только проходили на запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленной гулом. И беззвучно рвался пар из паровозного свистка, беззвучно катились составы по рельсам. А потом, сколько ни вслушивался Третьяков, даже грохота бомбёжки не доносило оттуда.

Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну, слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити рельсов. И вот, положив на ржавую щёбёнку солдатскую шинель с погонями лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал всухомятку. Солнце светило осеннее, ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под машинки в декабре сорок первого вьющийся его чуб и вместе с другими такими же вьющимися, тёмными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жёсткими волосами был сметён веником по полу в один ком шерсти, так с тех пор и не отрос ещё ни разу. Только на маленькой паспортной фотокарточке, матерью теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе.

Лязгали сталкивающиеся железные буфера вагонов, наносило удушливый запах сгоревшего угля, шипел пар, куда-то вдруг

устремлялись, бежали люди, перепрыгивая через рельсы; кажется, только он один не спешил на всей станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на продпункте. Один раз уже подошёл к окошку, аттестат просовывал, и тут оказалось, что надо ещё что-то платить. А он за войну вообще разучился покупать, и денег у него с собой не было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так, либо оно валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери, сколько унесёшь. Но в эту пору солдату и своя сбруя тяжела. А потом, в долгой обороне, а ещё острее — в училище, где кормили по курсантской тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и котелками черпали сгущённое молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом. Но шли тогда по жаре, с запёкшимися, чёрными от пыли губами — в пересохшем горле застревало сладкое это молоко. Или вспоминались угоняемые ревущие стада, как их выдаивали прямо в пыль дорог...

Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка выданное в училище вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики призывного возраста, но уберёгшиеся от войны, какие-то дёрганые, быстрые: они из рук рвали, и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не торгуясь, он отдал брезгливо за полцены, второй раз стал в очередь. Медленно подвигалась она к окошку, лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних все было новенькое, необмятое, на других, возвращавшихся из госпиталей, чьё-то хлопчатобумажное БУ — бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал его со склада, ещё керосинцем пахнущее, тот, может, уже в землю зарыт, а обмундирование, выстиранное и подштопанное, где его попортила пуля или осколок, несло второй срок службы.

Вся эта длинная очередь по дороге на фронт проходила перед окошком продпункта, каждый пригибал тут голову: одни хмуро, другие — с необъяснимой искательной улыбкой.

— Следующий! — раздавалось оттуда.

Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко, прорезанное низко. Среди мешков, вскрытых ящиков, кулей, среди всего этого могущества топтались по прогибающимся доскам две пары хромовых сапог. Сияли припыленные голенища,

туго натянутые на икры, подошвы под сапогами были тонкие, кожаные; такими не грязь месить, по досочкам ходить.

Хваткие руки тылового солдата — золотистый волос на них был припорошен мукой— дёрнули из пальцев продовольственный аттестат, выставили в окошко все враз: жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки лёгкого табаку:

— Следующий!

А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат.

Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развязал вещмешок и, сидя перед ним на рельсе, как перед столом, обедал всухомятку и смотрел издали на станционную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами— и день этот рыжий с копотью, и паровозы, кричащие на путях, и солнце над водокачкой, — все это даровано ему в последний раз вот так видеть.

Хрустя осыпающейся щебёнкой, прошла позади него женщина, остановилась невдалеке:

— Закурить угости, лейтенант! Сказала с вызовом, а глаза голодные, блестят. Голодному человеку легче попросить напиток или закурить.

— Садись, — сказал он просто. И усмехнулся над собой в душе: как раз хотел завязать вещмешок, нарочно не отрезал себе ещё хлеба, чтобы до фронта хватило. Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда— все.

Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки на худые колени, старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сала. Все на ней было сборное: солдатская гимнастёрка без подворотничка, гражданская юбка, заколотая на боку, ссохшиеся и растресканные, со сплюснутыми, загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах. Она ела, отворачиваясь, и он видел, как у неё вздрагивает спина и худые лопатки, когда она проглатывает кусок. Он отрезал ещё хлеба и сала. Она вопросительно глянула на него. Он понял её взгляд, покраснел: обветренные скулы его, с которых третий год не сходил загар, стали коричневыми. Понимающая улыбка поморщила уголки тонких её губ. Смуглой рукой с белыми ногтями и тёмной на сгибах кожей, она уже смело взяла хлеб в замаслившиеся пальцы.

Вылезшая из-под вагона собака, худая, с выдранной клоками шерстью на рёбрах, смотрела на них издали, поскуливала, роняя слюну. Женщина нагнулась за камнем, собака с визгом метнулась в сторону, поджимая хвост. Нарастающий железный грохот прошёл по составу, вагоны дрогнули, покатались, покатались по рельсам. Отовсюду через пути бежали к ним милиционеры в синих шинелях, прыгали на подножки, лезли на ходу, переваливаясь через высокий борт в железные платформы — углярки.

— Крючки, — сказала женщина. — Поехали народ чеплять.

И оценивающе оглядела его:

— Из училища?

— Ага.

— Волосы у тебя светлые отрастают. А брови те-ом-ные...

Первый раз туда? Он усмехнулся:

— Последний!

— А ты не шуткуй так! Вот у меня брат был в партизанах...

И она стала рассказывать про брата, как он вначале тоже был командир, как из окружения пришёл домой, как пошёл в партизаны, как погиб. Рассказывала привычно, видно было, что не в первый раз, может быть, и врала: много он слышал таких рассказов.

Остановившийся поблизости паровоз заливал воду; струя толщиной в столб рушилась из железного рукава, все шипело.

— Я тоже была партизанская связная! — прокричала она. Третьяков кивнул. — Теперь только ничего не докажешь!..

Пар из тонкой трубки позади трубы бил, как палкой, по железному листу, ничего вблизи не было слышно.

— Пошли, напьёмся? — прокричала она в самое ухо.

— А где?

— Вон колонка!

Он подхватил вещмешок:

— Пошли!

— А потом закурим, да? — наперёд уславливалась она, поспевая за ним.

Только у колонки спохватились: шинель оставил! Она вызвалась охотно:

— Я принесу!

И побежала в своих коротких сапогах, перепрыгивая через рельсы. Принесёт? Но и бежать за ней было стыдно. Пущенный

издали маневровым паровозом, сам собою катился по рельсам товарный вагон, заслонил её на время.

Она принесла. Вернулась гордая, неся на руке его шинель, пилотку гребешком посадила себе на голову. По очереди они напились из колонки, и смеялись, и брызгали друг в друга водой. Надавив рычаг, он смотрел, как она пьёт, зажмуриваясь, отхватывая ртом от ледяной струи. Волосы её сверкали водяными брызгами, а глаза на солнце оказались светло-рыжие, искристые. И с удивлением увидел он, что лет ей, наверное, столько же, сколько ему. А вначале показалась немолодой и сумрачной: голодная была очень.

Она помыла сапоги под струёй: мыла и на него взглядывала. Сапоги заблестели. Ладонью отряхнула брызги с юбки. Через всю станцию она провожала его. Шли рядом, он закинул за плечо вещмешок, она несла его шинель. словно это сестра его провожала. Или была она его девушкой. Уже прощаться стали, когда оказалось, что им по пути.

Он остановил на шоссе военный грузовик, посадил её в кузов. Став сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:

— Отвернись!

И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в кузов.

Уносились назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они целовались как сумасшедшие.

— Останься! — говорила она.

Сердце у него колотилось, из груди выскакивало. Машину подбрасывало, они стучались зубами.

— На денёк...

И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего, никогда больше. Потому и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина, беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и заволоклось известковым облаком.

На въезде в деревню она прыгнула, вместе с прощальным взмахом руки скрылась навсегда. Донеслось только:

— Шинель не потеряй!

А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже имени её не спросил. Но что имя?

Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.

— Взво-у-уд... — отпуская от себя строй, старшина загарцевал на месте. — Стуй!

Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы набиты пылью.

— Нали-и.-.-ву!

Напрягая икры ног, пятясь от строя, старшина звонко вознёс голос:

— Равняйсь! Сми-и-ррна!

У девчат от подмышек до карманов гимнастёрок — тёмные круги пота. На той стороне шоссе осенняя рощица порошила на ветру листвой. Кося напряжённым выкаченным глазом, старшина прошёлся перед строем, как на подковах:

— Р-разойдись...

И смачно произнёс, за какой нуждой разойтись. Со смехом, взбрыкивая сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины. Старшина, довольный собой, подошёл, козырнул, сел рядом с Третьяковым на обочину, как начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому виску, по неостывшей щеке тёк пот, прокладывая блестящую дорожку.

— Связисток гоню! — И подмигнул весёлым глазом, белок его был воспалённый от пыли и солнца. — Должность — вредней не придумаешь.

Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались девчата из рощицы, кто сорванный цветок нёс в руке, кто — пучок осенних листьев. Построились, подровнялись. Старшина скомандовал:

— С места — песню!

Хохот ответил ему. Он только показал издали: такой, мол, у меня народ.

Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю военных девчат, весело топавших по пыли.

ГЛАВА III

Чем ближе к фронту, тем ощутимей повсюду следы огромного побоища. Уже прошли по полям похоронные команды, хороня убитых; уже трофейные команды собрали и свезли, что вновь годилось для боя; окрестные жители стаскивали каждый к себе, что оставила война, прогрохотавшая над ними, и теперь годилось для жизни. Ржавела в полях сгоревшая, разбитая техника, и над всем, над тишиною смерти— колючая ясность и синева осеннего неба, с которого пролились на землю дожди.

А мимо по грейдеру цокотала подковками пехота, позвякивала окованными прикладами о котелки, полы шинелей на ходу хлестали по ногам, тонковатым в обмотках. Солдаты всех ростов и возрастов, снаряжённые и нагруженные, шли на смену тем, кто полёг здесь. И самые молодые, ничего ещё не видавшие, тянули шеи из необмятых воротников шинелей, со щемящим любопытством и робостью живого перед вечной тайной смерти вглядывались в поле недавнего боя. Там, куда они шли в свет заката, по временам словно растворяли паровозную топку: доносило усиливающееся гудение и вздрагивал воздух. И в себе самом, удивляясь и стыдясь, чувствовал Третьяков это беспокойство. Увидел сожжённый немецкий танк у самого шоссе, остановился поглядеть.

Танк был какой-то новый, громадной тех, что видел он на Северо-Западном фронте. Синяя оплавленная пробоина в броне: снаряд, должно быть, подкалиберный, как сквозь масло прошёл. А броня мощная, толще прежней.

Ветер шевелил вдавленные в чернозём сырые клочья нашего серого шинельного сукна. В осколках луж, в танковом следу блестело похолодавшее небо, свежо и ясно сиял закат, покрываемый рябью. Третьяков смотрел и волновался, и мысли всякие, как впервые... Восемь месяцев не был на фронте, отвык, заново надо привыкать.

Последнюю ночь вместе со случайным попутчиком ночевал он на краю большого сожжённого немцами села. Попутчик был уже не молод, рыжеват, лицо мятое, на котором брить почти нечего, кисти рук в крупных веснушках, в белом волосе.

— Старший лейтенант Таранов! — представился он и чётко, словно ожегшись, отдернул ладонь от лакового козырька фуражки. По выправке — строевик. Все на нем было не с чужого плеча: суконная зеленоватая гимнастёрка, синие диагоналевые галифе — цвет настольного сукна и чернил. Сапоги перешиты на манер хромовых. А на руке нёс он шинель офицерского покроя из тёмного неворсистого сукна. Даже на руке она сохраняла фигуру: спина подложена, грудь колесом, погоны на плечах, как дощечки, разрез от низу до хлястика. В такой шинели хорошо на параде, на коне, а укрыться ей невозможно: какой стороной на себя ни натягивай, ветер гуляет и звезды видны. Вот с нею на третьем году войны добирался старший лейтенант Таранов из запасного полка на фронт.

— Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать, — сказал он, при этом строго глянул в глаза и с чувством пожал руку.

Таранов сам выбрал дом для ночёвки и очень удачно. Хозяйка, лет сорока, украинка, статная, гладко причёсанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась офицерам: по крайней мере не набьётся полная хата войск. И вскоре Таранов, поперёк повязавшись полотенцем, помогал ей на кухне организовать ужин, вскрывал консервные банки, и женщина старалась рядом с ним. А за спиной её, привлечённый запахом еды, ходил мальчонка лет трех, тянулся заглянуть на стол.

— Ты лягай спать, горе моё! — прикрикнула хозяйка и, как будто злясь на него, сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама приниженно, испуганно глянула на Таранова.

Сбежав через дорогу к шофёрам, Третьяков заправил бензином керосиновую лампу, всыпал в неё горсть соли, чтобы бензин не взорвался, а когда вернулся, за столом сидели уже трое.

— Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка от нас скрывала! — поблёскивая золотыми коронками из-под бледных, как отсыревших изнутри губ, шумно встретил его Таранов. И подмигивал, указывал глазами.

Рядом с хозяйкой сидела дочь лет семнадцати. Была она тоже крупна, хороша собой, но сидела, как монашенка, опустив чёрные ресницы. Когда Третьяков садился около, подняла их, глянула на него с любопытством. Глаза синие-синие. Заговорила первая:

— Мы не взорвёмось?

— Что вы! — стал успокаивать Третьяков. — Проверено на фронте. Соли всыпал в бензин, ни за что не взорвётся.

И споткнулся о её взгляд. Она снисходительно улыбалась:

— Я ж така трусиха, усею боюсь... А мать чёрными глазами стерегла её и рассказывала, рассказывала, сыпала словами, как из пулемёта:

— Тут немцы уходят, тут я після операции уся, уся разрезанная лежу. Ой, боже ж мий! Оксаночке четырнадцать рокив и тэ, малэ... Шо мэни робить?

— Тебя Оксаной зовут? — спросил Третьяков тихо.

— Оксана. А вас?

— Володя.

Она подала под столом свою руку, мягкую, жаркую, влажную. Сердце у него пропустило удар и заколотилось, как сорвавшись.

— Оксаночка! — позвала хозяйка, встав из-за стола. Та вздохнула, улыбнулась лейтенанту, нехотя пошла за матерью.

— Ты не теряйся, лейтенант! — шепнул Таранов. Они двое сидели за столом, ждали. За дверью слышен был приглушённый голос хозяйки: она что-то быстро говорила, ни одного слова не разобрать. — На фронт едем. Он подмигнул, быстро налил стаканы. Выпили. По очереди прикурили от лампы.

— Может, последний день так, может, завтра убьют, а?

И громко позвал:

— Катерина Васильевна! Катя! Что ж вы нас бросили одних? Нехорошо, нехорошо. Мы ведь обидеться можем.

Голоса за дверью смолкли. Потом хозяйка вышла, одна, сияя улыбкой.

— А где же Оксаночка? — забеспокоился Таранов.

— Спать полягали. — Хозяйка близко села с ним рядом, полным плечом касалась его плеча. — От если б вы были врачи...

— А что? Какая болезнь? — спрашивал Таранов.

— Та не болезнь. Дороги гоняют строить. От если б вы были врачи, дали б освобождение дивчине.

— А мы и есть врачи! — Таранов усиленно подмигивал ему, глазами указывал на дверь, за которой была Оксана.

— То вы шуткуете! — И полной ручкой махала на него. Таранов ручку перехватил, к себе потянул. — У врачей погоны зовсим не такие.

— А какие же они у врачей?

— Манэсеньки, манэсеньки. — И пальцем другой руки рисовала у него на плече, на погоне. — Манэсеньки, манэсеньки...

— А не большесиньки? — У Таранова влажно поблёскивали золотые коронки, к нижней беловатой изнутри губе присохла болячка. — Не большесиньки?

Разговор уже шёл глазами. Третьяков встал, сказал, что пойдёт покурить. В коридоре нащупал в темноте шинель, вещмешок. Закрывая наружную дверь, слышал приглушённый голос Таранова, женский смех.

Спиной опершись об уцелевший стояк забора, он стоял во дворе, курил. На душе было погано. Женщина, конечно, заслоняет собою дочь. Может, и при немцах вот так заслоняла, собою отвлекала от неё. А этот обрадовался: «На фронт едем...»

Беззвучно, артиллерийскими зарницами вздрагивало небо в западной стороне. Обмытый дождём узкий серп народившегося месяца, до краёв налитый синевою, стоял над пожарищем, корявая тень заживо сгоревшего дерева распласталась по двору. Гарью наносило с соседнего участка: там обугленные яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу на пепелище.

Слышно было, как через улицу во дворе колготятся шофёры у машин. Третьяков пошёл туда. В доме на полу спали вповалку. Он влез по шаткой лестнице на сеновал, на ощупь сгрёб охапку сена, пахнувшего пылью, лёг, укрылся шинелью с головой. Хотелось уже к месту— и скорей бы. Засыпая, слышал внизу голоса шофёров, медленное гудение самолёта где-то высоко над крышей.

А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километров шесть пешком, Третьяков явился рано, писаря только ещё рассаживались за столами. После завтрака им ни за что братья не хотелось до прихода начальства, они с деловым видом открывали и захлопывали ящики.

Полки артиллерийской бригады подивизионно, по-батареино приданные стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были на широком фронте, а штаб стоял в хуторе, в четырех километрах от передовой. Дальние артиллерийские разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулемётов, но

слышней жужжала на стекле оса. В раскрытой наружу пыльной створке окна ползла она снизу вверх по стеклу, удерживая себя трепыхающимися крылышками, и писарь на подоконнике перегибался, сладострастно и опасно нацеливался раздавить её.

Дымком летней кухоньки наносило со двора: там, под вишнями, в деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и гимнастёрки, вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов, молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то помешает в чану, а сам глаз не мог отвести от каменно колыхавшихся в вырезе рубашки грудей, от рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене. Из окна ему подавали советы. И только старший писарь Калистратов, готовясь дело делать, прочищал наборный мундштучок, протягивал соломинку сквозь него. Вытянул всю как в дёгте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо, покачал головой.

Писарю на окне удалось наконец задавить осу. Довольный, обтёр пальцы о побелку стены, достал яблоко из кармана, с треском разгрыз— белый сок вскипел на зубах.

— Так —какие тебе, Семиошкин, часы разведчик припёр? — спросил Калистратов. А сам прилежно клонил к плечу расчёсанную чубатую голову, осторожно, чтоб не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук, начисто прочищал.

Семиошкин поёрзал штанами по подоконнику:

— «Доксу»!

— Им везёт... разведчикам. — Калистратов на свет поглядел в отверстие прочищенный мундштучок. — Впереди идут, все ихнее. Чего им?..

Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов, обмундированных и снаряжённых, проходит через штаб по дороге из училища на фронт. Иной и обмундирования не успевает износить, а уже двинулось в обратный путь извещение, вычёркивая его из списков, снимая со всех видов довольствия, более ненужного ему.

И ещё он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал. Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады— писарей из-за столов как выдернуло. Сами откуда-то явились бумаги на столах, за пишущей машинкой в углу возник

писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было, словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним пальцем: тук... тук... — литеры надолго прилипали к ленте.

Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады: «Калистратов, скажешь, беру лейтенанта! Здесь останется, у меня, командиром взвода». И вместо того, чтобы обрадоваться, вместо благодарности, Третьяков попросился в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать. Собравшись скопом, они разглядывали сейчас часы Семиошкина, лежавшие на столе. Даже писарь в очках, как видно, низший в здешней иерархии, вылез было из-за машинки тоже поглядеть, но ему сказали:

— Печатай, печатай, нечего тут... Ножичком Калистратов вскрыл заднюю крышку часов, обнажённый, пульсировал маятник на виду у всех.

— Ие-ве-ли-сы... — по складам читал Калистратов нерусские буквы. Проглотил слюну, утвердился, чубом тряхнув. — Евельс! Это что?

— Эти камни ещё лучше рубиновых, — похвастался Семиошкин и сладко причмокнул яблоком. — На шестнадцати камнях!

— «Евельс»... Везёт разведчикам. Кто-то хохотнул:

— Оно у них не долго задерживается. Третьяков вышел во двор ждать связного из полка, чтобы не плутать зря. Хозяйка, сняв чан с плиты, опрокинула его, ком вываренных портянок в мыльном кипятке вывалился в корыто, оттуда в лицо ей ударил пар. А на траве, на ворохе гимнастёрки, расставя босые ноги, сидел при ней мальчонка лет двух, прижав кулаками ко рту помидор, высасывал из него сок. Вся рубашонка на животе была в помидорных зёрнах и в соке. «Наверное, без отца родился», — лениво соображал Третьяков. Он рано встал сегодня, и на утреннем солнце, под отдалённое буханье орудий его клонило в сон. Головки сапог из выворотной кожи, которые он смазал солидолом, были все ржавые от пыли. Подумал было почистить их травой, даже глянул, где сорвать поросистей, но тут издали заметил связного.

С карабином за плечами, поглядывая вверх на провода, сходящиеся к штабу, солдат быстро шёл ува-листой походкой, тени штакетника и солнечный свет катились через него. Обождав, Третьяков следом за ним вошёл в штаб. Успевший вручить донесение связной пил воду у двери. Допил, насухо за собой

стряхнул капли, вверх дном перевернул рядом с ведром жестяную кружку. Тут же, у дверей, присевши на корточки, вытер снятой с головы пилоткой враз вспотевшее лицо, мягкие погоны на его плечах вздулись пузырями.

Старший писарь, для солидности подальше отнеся от глаз, строго читал донесение, а связной, оперев карабин о стену, пригрозив ему пальцем, чтоб стоял, сворачивал курить.

— Из триста шестнадцатого? — спросил Третьяков. Связной слюнявил языком край газетки, доброжелательно мигнул снизу. Прикурил, сладостно затаился, спросил, щурясь от дыма:

— Это вас, товарищ лейтенант, сопровождать? Сожжённые солнцем брови его были белы от насевшей пыли, распаренное лицо — как умытое. Мокрые, потемнели, прилипли отросшие на висках волосы. Затянувшись несколько раз подряд, окутавшись висячим махорочным облаком, связной вдруг спохватился:

— Вот ведь забыл совсем... Как отшибло память... — И, вставши, расстёгивал карман гимнастёрки. Вытащил оттуда серую от пыли тряпицу, развернул на ладони — в ней была серебряная медаль «За отвагу».

Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как недавно разглядывали часы. Была она старого образца, с красной замазлившейся лентой на маленькой колодке. Серебро почернело, словно закоптилось в огне, а посреди — вмятина и дырка. Пуля косо прошла через мягкий металл, и номер на обороте нельзя было разобрать.

— Это какой же Сунцов? — спрашивал старший писарь Калистратов, как видно гордясь своим знанием личного состава. — Который к нам в Гулькевичихах с пополнением прибыл?

— А я не знаю, — доброжелательно улыбался связной и сложенной пилоткой вновь утёр лицо и шею. Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти по солнцу, и выпитая вода выходила из него потом. — Приказали: снеси в штаб, отдай, мол.

— Так как же его убило?

— А как? На НП, должно. Разведчик.

— Телефонист. Вот сказано: связист.

— Разве связист? Ну, значит, по связи... — ещё охотней согласился солдат. — Связь обеспечивал...

Старший писарь отчего-то нахмурился, отобрал у писарей медаль, подколол к ней сопроводительную бумагу. И когда

открывал заскрипевшую крышку железного ящика, был торжествен и строг, словно некий обряд совершал. Серебряная медаль звякнула о железное дно, и снова со скрежетом и лязгом опустилась крышка.

Вскоре— вслед за связным— Третьяков шёл в полк. Они свернули в проулок. Навстречу во всю ширину его— от плетня до плетня— шли с завтрака офицеры. Солнце светило сбоку, и тени головами дотягивались по пыли до плетня, а ближние и за него перевалили.

Старший по званию, майор, что-то рассказывал уверенно, а шедший с правого края офицер заглядывал вдоль строя, улыбкой участвуя в разговоре. И с удивлением Третьяков признал в нем старшего лейтенанта Таранова, его золотой клык блеснул из дряблых губ. Но видом, выправкой строевой он весь так пришёлся в этой шеренге возвращавшихся с завтрака, словно всегда и был здесь.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.